

УДК 316.25 + 316.28

Е. Г. Трубина

МОБИЛЬНОСТЬ И СЕДЕНТАРИЗМ В СОЦИАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

В статье рассматриваются исследования мобильности, осуществляемые в социальной теории последнего десятилетия в рамках провозглашенного английским социологом Д. Урри «поворота к мобильности». Основания социальной теории пересматриваются сторонниками данного поворота с помощью таких концептуальных новаций, как понятия «мобильность» и «седентаризм». Цель статьи — показать сложности соединения этих понятий с уже существующими линиями мысли, в частности с пониманием трансформаций публичной сферы в век информационных технологий.

Ключевые слова: мобильность, седентаризм, движение, материальность, приватное и публичное, публичная сфера.

Одна из главных проблем, возникающих перед нами, когда мы начинаем задумываться над существом масштабных социолого-теоретических очерков и появляющихся в социальной теории новых парадигм и «поворотов», это сведение социального и исторического разнообразия к новым, волнующим, но далеко не всегда продуктивным и реалистичным обобщениям. У значительной части социальной теории достаточно короткая историческая память: два-три последних столетия, анализируемых в теоретических портретах модерности, второй модерности и т. д., которые рисуют сегодня Ульрик Бек, Скотт Лэш и др., составляют лишь выгодный фон для того, чтобы эффектно оттенить последние и, как нередко считается, беспрецедентные социальные изменения. Одним вектором таких изменений считается нарастание географической и виртуальной мобильности людей и вещей. Обобщения социальной теории нередко приводят как к исчезновению различий между уровнями социальных образований, так и к упрощенному изображению предшествующих эпох и достигнутых в их рамках концептуальных завоеваний.

Исследования мобильности

Активно осуществляемые в последнее десятилетие исследования мобильности описываются их инициаторами как радикально переосмысливающие философские и социологические теории по той причине, что они не ставят в центр внимания движение. Однако радикальность тех или иных сдвигов парадигм в социально-гуманитарном знании, при всей ее психологической привлекательности, часто преувеличивается. Так, «поворот к мобильностям» в социальной теории, провозглашенный английским социологом Джоном Урри [26], сложно отделить от общего постструктуралистского концептуального движения 1980–2000 гг., которое для одних ассоциируется с деконструкцией Деррида, для других — с «детерриториализацией» и «номадами» Делеза и Гваттари, для третьих — с «текучей» модерностью Баумана. Отказ от дихотомичного противопоставления внешнего и внутреннего и от мышления в терминах центра — периферии в пользу реляционного мышления привел к попыткам описать сети и потоки. Последние — как метафора — важны тем, что у них нет исходной или конечной точки, поэтому они позволяют мыслить движение в его материальности, но без преувеличения его направленности и управляемости. Социальные связи объединяются в сети, которые перемещают потоки товаров, денег, людей и идей. Вместе с тем различные виды движения людей, вещей, информации и идей не могут беспроблемно стать предметом исследования, они требуют перефокусировки социального знания и специфической методологии.

В ходе рассматриваемого поворота складывается представление о социальном мире как об образованном множественными и пересекающимися системами мобильности. Оно тесно связано с «пост-человеческим» взглядом на этот мир, согласно которому движения вещей следует рассматривать не как подчиненные человеческой воле, а как соучаствующие в человеческих практиках. Ряд социальных географов и геологов рассматривают не только мобильность людей и коллективов, но и движение «не-человеческих» участников трансформации земного ландшафта, в частности, растений, расселяющихся по континентам в соответствии с отнюдь не очевидной логикой [5]. Насколько поощряет мобильность сама природа? Исторические нарративы колонизации часто изображают дело так, что поселенцы принесли с собой семена новых растений, приручили животных, преобразуя первозданную, уже существовавшую природу. Под влиянием акторно-сетевой теории географы и антропологи пересматривают эти нарративы, показывая, что расселение живых существ, людей и растений шло в самых разных направлениях, и далеко не всегда колонизаторы могли предвидеть, чем обернется дело. На этот случай в масштабных описаниях колонизации, включая преобразование колонизаторами нетронутой природы, есть другой часто встречающийся объяснительный прием: природное равновесие было нарушено, и расплата была неминуема.

Но так ли уж дорожит природа равновесием? Таким вопросом задаются сегодня теоретики мобильности. «Если в “природе” жизни — держаться родной почвы, то почему в любом направлении таксономического спектра дома есть

биологические виды, что так и рвутся к перемещению?» [7, 112]. Достаточно вспомнить сорняки и усилия, которые повсеместно (и со скромными результатами) предпринимаются по спасению от них. Взаимодействие растительной природы с окружающей средой осмысливается в современной экологии с учетом того, что далеко не все экосистемы развиваются в направлении стабильных сообществ [10]. Напротив, как показал в последние двадцать-тридцать лет ряд экологов, природные перемещения либо возмущения столь же значимы для существования экосистем, как и стабильность [5]. Разного масштаба извержения вулканов, эпидемии, штормы, пожары способствуют тому, что многие экосистемы представляют собой своего рода лоскутные одеяла, объединяющие старые и стабильные и только что потревоженные участки, а стабильные и уравновешенные экосистемы в целом представляют собой скорее исключение [25, 5]. После природных потрясений первыми приходят невзыскательные микроорганизмы, растения и животные, которым все годится, а именно все немногие оставшиеся доступными жизненные ресурсы: они, пользуясь тем, что более капризные биологические соперники уничтожены, с невероятной скоростью воцараются на больших пространствах, оживляя поврежденную землю.

Акторно-сетевая теория Б. Латура и его последователей стимулировала появление многих интересных исследований. Переосмыслены не только история колонизации всех континентов, эволюция природы, но и природа агентов мобильности. Среди таковых рассматриваются, к примеру, байты информации.

Идеи К. Хэйлз, Ф. Киттлера и многих других исследователей, призывающих отказаться от «гуманистической» парадигмы, ставящей человека в центр исследования любых процессов, сегодня используются для описания процессов, в которых на равных участвуют люди и вещественная оснастка информационных технологий. Мобильным видится все, и прежде всего, повторим, потоки информации. Один из упомянутых авторов справедливо подчеркивает, что в «высокоразвитых и сетевых обществах, например в США, человеческое сознание составляет лишь вершину огромной пирамиды потоков данных, большая часть которых перемещается между машинами» [13, 161].

Джон Урри, большой мастер разнообразных связанных с движением остроумных перечней и типологий, выделяет следующие типы мобильности, которые в равной степени относятся к людям и вещам: 1) удержание на месте (заключенный, зажатая между другими машина, постер, риторическая фигура); 2) прикрепленность к месту (страдающий агорафобией человек, здание, библиотечная книга, чувство места); 3) временная остановка (посетитель, машина в гараже, граффити, презентация); 4) портативность (младенец, ноутбук, сувенир); 5) часть мобильного тела (зародыш, iPod, удостоверение личности, дизайнерская марка); 6) протез (помощник инвалида, контактные линзы, бейдж с именем, гендер); 7) компонент мобильной системы (водитель, дорога, расписание, скорость); 8) основанность на коде (киборг, Blackberry, цифровой документ, компьютерный вирус) [6, 100].

Главное, чем важна «парадигма новых мобильностей», как еще именует ее Урри, это возможность их интерпретации в качестве образований, заданных множественными вариантами движения, ритмов и скорости. Движение повсе-

местно, пронизывая материалы, места, пространства, настаивает Урри, выделяя четыре смысла понятия «мобильный» или «мобильность». Во-первых, это что-то движущееся или способное к движению (мобильный телефон, мобильный человек, передвижные госпиталь или кухня, дом на колесах). Мобильность — это свойство вещей и людей, осмысливаемое в основном позитивно [27, 7]. Во-вторых, это неуправляемая толпа, неуправляемая именно в силу своей подвижности, способности выйти из-за границ, а потому нуждающаяся в наблюдении и регулировании. Современность порождает все новые, «умные» толпы и «множества», для сдерживания которых используются все более изощренные средства надзора. В-третьих, в традиционной социальной теории термин используется для обозначения перемещения индивида с одной социальной позиции на другую, которые, в свою очередь, мыслятся как четко отделенные друг от друга. Социальная мобильность, таким образом, может быть восходящей или нисходящей. Если этот вариант понимания мобильности метафорически фиксирует карьерный рост как вертикальный, то четвертый, напротив, сосредоточен на миграции и других вариантах географического перемещения людей, а потому может быть сочтен горизонтальным. Стремление к лучшей жизни от века побуждало людей к пересечению больших территорий, но сегодня миграция беспрецедентно интенсивна [Там же, 8; 21].

В нескольких книгах, что Урри посвятил мобильности, он оперирует широким спектром понятий, образов и метафор, включающим сети, жидкости, потоки, сложность, мобильные гибриды, ризомы, детерриториализацию, для того, чтобы показать, каким образом разные виды движения (образов, информации и т. д.) и путешествий (воображаемых, виртуальных, телесных и вещественных) материально преобразуют «социальное как общество» в «социальное как мобильность», включая современную социологию в движение в «пост-социальном» направлении [26, 186]. Поворот к мобильностям социолог связывает с определением степени, размаха и последствий телесных, воображаемых и виртуальных передвижений самого разного плана — на работу, на отдых, чтобы избежать насилия, чтобы поддержать свою диаспору. В фокусе внимания, во-первых, то, как перемещения людей и передача сообщений, информации и образов накладываются друг на друга и соединяются, и, во-вторых, как физические и виртуальные перемещения связаны с социальной мобильностью, подтверждая статус и обладание властью в одних случаях и порождая социальную исключенность в других.

Исследования мобильности, открывающие много нового в отношениях людей и вещей, тесно связаны с критикой традиционной социальной теории за ее слепоту в отношении разных видов движения в социальном пространстве. В «Социологии помимо обществ» Урри [Там же] противопоставил традиционную социологию, базирующуюся, по его мнению, на статичных структуре и социальном порядке, и мобильную социологию, которая должна основываться на движении, мобильности и случайном упорядочении. Если традиционная социология рисует картину мира как поделенного на национальные государства, то это и антропологов, и урбанистов, и иных специалистов побуждает мыслить в терминах стабильных структур. Дело, однако, заключается не только в том,

чтобы подробно описать самые разнообразные варианты мобильности (чем многие исследователи сейчас увлечены). Важно сделать акцент на мобильности стимулом к *новому мышлению* о социальном мире, такому, которое бы не «вычитало движение из картины», по выражению канадского философа Брайана Массуми [18, 3].

Перечислим основные составляющие этого нового мышления. Во-первых, социальные науки должны стремиться зафиксировать мир как подвижный и текучий, а не как стабильный. Во-вторых, социальный мир образован разнообразной множественностью времен и пространств. В-третьих, социальные науки должны исходить из того, что социальность составляют как человеческие, так и нечеловеческие силы, а технология и общество взаимозависимы. В-четвертых, социальным наукам необходимо избавиться от «контейнерного» мышления, в частности от описания мира как поделенного на национальные государства. В-пятых, социальные практики — главное в обществе. В-шестых, эмоционально-аффективная составляющая социальной жизни должна в теоретических описаниях последней занять подобающее место.

Анализируя эти составляющие, обнаруживаем, к примеру, что тезис о подвижности и текучести социального мира отнюдь не нов. «То, что “все вещи изменяются”, представляет собой первое смутное обобщение, которое было сделано несистематической и еще далекой от аналитичности человеческой интуицией. Это тема лучших образцов древнееврейской поэзии в Псалмах; как фраза Гераклита она выступает одним из первых обобщений древнегреческой философии... и вообще на всех стадиях цивилизации воспоминание об этом способно вдохновлять поэзию», — справедливо пишет английский философ Альфред Уайтхед, подробно исследовавший понятия процесса, протекания и креативности [3, 293]. Дело в том, чтобы, во-первых, само мышление и метафоры, в которых оно фиксируется, сделать динамичными, а во-вторых, критически выявить общепринятые представления о подвижности и неподвижности, понять их связь с моралью и политикой.

В этом отношении можно согласиться с теми авторами, что пытаются разграничить понятия движения и мобильности, в частности Тимом Крессвелом, [8], и именно последнее сделать инструментом анализа различных вариантов пересечения подвижных (и неподвижных) людских тел и представлений о подвижности, что то или иное общество поощряет. Почти любое движение, совершаемое в социальном мире, имеет тот или иной смысл, но анализ того, как именно различные его варианты осмысливаются и становятся предметом тех или иных политических и социальных репрезентаций, сегодня видится отдельной и насущной задачей. Если «движение» может быть сведено к простому перемещению, если его можно представить как перемещение из точки А в точку Б, то разговор о «мобильности» позволяет проанализировать, как данная траектория связана с властью, материальностью и той или иной метафизикой [Там же, 2–3]. Это вполне допустимая (и последовательно Крессвелом в его книге проведенная) точка зрения, однако здесь возникает проблема, с которой мы часто сталкиваемся, оценивая те или иные концептуальные различия либо нововведения. Движение — настолько многозначный термин, что сведе-

ние его к перемещению (что дает возможность именно «мобильность» увязать со «свободой, трансгрессией, креативностью, самой жизнью» [8, 3]) оставляет без ответа вопрос о том, что делать, к примеру, с «политическими движениями». Переименовать их в «политические мобильности»? Другая возникающая здесь сложность состоит в том, что инерция словоупотребления препятствует ассоциированию «аффективной», эмоциональной составляющей социальной жизни именно с «мобильностью». Ведь мы описываем свои чувства, в частности состояние растроганности или затронутости, с помощью связанных с движением метафор (что еще отчетливее можно проследить в английском языке, в котором «я был глубоко тронут» передается как «I was deeply moved», т. е., если буквально, «двинут»). Возможно, попытки *мобильно* мыслить социальный мир посредством новых теорий должны быть сильнее и точнее увязаны с драгоценными интуициями естественного языка.

Критика седентаризма

Естественный язык в то же время запечатлевает социальные предпочтения и предрассудки, и если мы сравним ситуации, в которых употребляются такие выражения, как «перекати поле», «космополит», «голь перекатная», «мигрант», с теми, в которых царит «стабильность», то заподозрим, что в наших представлениях о социальной жизни мы часто неосознанно предпочитаем то, что находится (и остается) на своем месте, тому, что движется (и меняется). Седентаризм, т. е. точка зрения, отдающая предпочтение оседлому и неподвижному образу жизни перед кочевым и подвижным, популярен, и тому много причин.

Упомянем, в частности, что в период модерности сложилось воображаемое противопоставление познания и движения, т. е. уравновешенного и находящегося в покое разума и перемещающегося тела. В то же время некоторые мыслители самым образом жизни свидетельствовали о сложности сочетания практик мышления и разных видов движения: не покидавший Кенигсберга Имманиул Кант запомнился согражданам регулярными прогулками. Хождение мыслилось его современниками как удел простолюдинов, а возможность добраться до цели иными средствами свидетельствовала о более высоком социальном статусе. Вордсворд, Рескин и другие романтики прославили зоркость, необходимую, чтобы должным образом воспринимать красоту Озерного края, и тем способствовали воцарению зрения как главного способа контакта с миром. Американский автор Ребекка Солнит, автор интересной книги о гулянии и ходьбе, убеждена, что первым событием, приведшим к тому, что ходьба сегодня так непопулярна, было торжественное открытие в 1830 г. первой междугородной пассажирской железной дороги между Манчестером и Ливерпулем [24, 256]. Воспетые Нестором Кукольниковом первые российские поезда, которые с 1837 г. стали курсировать между Петербургом и Царским Селом («Дым столбом — кипит, дымится Пароход... Пестрота, разгул, волнение, ожиданье, нетерпенье... Православный веселится наш народ...»), также привели к тому, что люди отныне предпочитали добираться до места сидя и беседуя. Пространство, понятое как вместилище, в котором тело и дух могут оставаться

в покое, положившись на силу зрения, — такое подспудное отношение к пространству сформировалось, как ни парадоксально, с развитием железнодорожного транспорта, сделавшим возможными путешествия, в ходе которых путешественников движение как таковое не интересовало. Они стремились к пунктам назначения, удобно расположившись в вагоне.

По мнению шотландского антрополога Тима Ингольда, тот факт, что мы последние 200 лет живем в «сидящем обществе», «как нельзя лучше иллюстрирует ценность, придаваемую седентарному восприятию мира, опосредованному предпологаемо превосходящими все другие чувства зрением и слухом и не нарушенному тактильным или синестическим ощущением ног» [5, 323]. Так что, заключает он, для обитателей современных городов характерна беспочвенность: их не только все время что-нибудь отделяет от земли, будь то асфальт, стул или подошвы ботинок, но они почти не ходят, а потому лишены возможности познания мира в движении.

Однако скажем без обиняков: мало ли куда и как далеко люди могут пойти, если дать им волю. Это хорошо понимали и понимают все правители. К слову сказать, многие авторитарные и тоталитарные лидеры были домоседами. По словам французского философа Режи Дебрэ, «у деспотов социал-феодализма были оседлые души. Как правило, великие параноики говорили только на родном языке. Неотрывным от своей почвы, им недоставало любопытства в отношении других, какого-то импульса бросить им вызов либо смешаться с ними. Автократы боятся путешествовать, съезживаясь от дезориентации и сомнительных встреч» [9, 25].

Необходимость эффективного управления передвижением населения, безусловно, нередко самым опосредованным образом, но все же отражалась в социальной теории. Движение и поток, возможно, потому долго входили в «слепое пятно» социальной теории, что отождествлялись с животным, инстинктивным, иррациональным и примитивным [4, 38]. Антрополог Мэри Дуглас в работе «Чистота и опасность» показала, что мы считаем «грязью» те предметы и тех людей, что сходят со своих мест, нарушая привычный порядок вещей. Антрополог Лииса Малки, развивая эти идеи в книге «Чистота и изгнание» [16], показывает, какую сомнительную роль в современном коллективном воображении играет метафора дерева. Она преобладает в описании отношений человека с местом: укорененность приветствуется, а люди-«перекати-поле» порицаются: «Наши седентаристские допущения о привязанности к месту приводят к тому, что мы определяем перемещение не как факт социополитического контекста, но как внутреннее патологическое качество перемещенных» [17, 62]. «Седентаристская метафизика» проявляется в отношении ко всем, кто выпадает из своей нации в силу исторических событий или случайностей судьбы, ведь именно нация составляет сегодня преобладающий режим классификации, образуя «национальный порядок вещей». По Малки, это обитание в постоянном месте «мыслится как норма, а глобальный социальный факт, что сегодня, больше, чем когда-либо, люди хронически мобильны и привычно перемещены, изобретая дома и родину в отсутствие территории», недооценивается [Там же, 52].

Упомянутая выше, в разборе идей Джона Урри, «пост-социальная» мобильная социология учитывает, что продолжающееся ассоциирование социального с национальным государством способствует воспроизводству седентаристской метафизики. Она возникла и укрепилась по мере того, как контроль за перемещением людей, возможность которого была одной из предпосылок промышленной революции, стал частью социального порядка, поддерживаемого буржуазными государствами. Разные варианты «огораживания» поставляли заводам рабочих, но их мобильная армия удерживалась в рамках национальных границ, которые свободно пересекали торговцы и колонизаторы. Сложилось понимание того, что некоторые виды движения разрешены и поощряются, тогда как другие ограничены либо запрещены: толпам рабочих разрешалось добираться до другого завода, тогда как колонизаторы садились на корабли, оставляя дома семьи, благополучие которых базировалось на владении землями, понятно, предполагающем многолетнюю укорененность. Само английское написание слова «толпа» (*mob*, что в XVII–XVIII вв. обозначало «чернь», «простой народ», «сбород») напоминает о том, как неразрывно модная сегодня «мобильность» связана с социальными различиями. Когда мы читаем сегодня, в описании «позднего» капитализма Ф. Джеймисоном, что новые коммуникационные технологии усиливают мобильность капитала, который словно теряет вес и определенное местонахождение, либо, в описании текучей модерности З. Бауманом, что это капитал мобилен, тогда как бедность часто остается оседлой, полезно помнить, что ограничение мобильности низших классов и поощрение мобильности денег сложилось, по сути, несколько веков назад.

Антрополог Лииса Малки говорит о седентаристской метафизике, описывая опыт беженцев и то, как к ним относятся и в правительственных инстанциях, и в повседневных местах. «Контейнерное» мышление о мире как поделенном на единицы, обладающие строго очерченными границами [2, 18, 80, 184, 196], оборачивается поощрением укорененности и подозрительностью к странничеству. Соответственно «мобильная», или «номадическая», метафизика в теоретическом осмыслении общества долгое время занимала второстепенное место, становясь основанием либо романтизации путешествий и подвижности, либо встречающихся сегодня в изобилии абстрактных характеристик современного мира как открытого, пронизанного потоками и перемещениями мобильных субъектов. В более общем плане можно сказать, что как работа с метафорами «места» и «дома» могла обернуться забвением социально-классовых и культурных различий между укорененными оседлыми людьми, так и теоретическая увлеченность «потоками», «номадизмом», «транснационализмом», «туризмом» и различными иными проявлениями мобильности вызывает критику тех теоретиков и исследователей, которые видят свою задачу в том, чтобы точки зрения «недопредставленных» в прошлом общностей и субъектов были учтены в западных дискуссиях. Так, постколониальные теоретики обоснованно критиковали тенденцию прославлять мобильность за ее «сверх-обобщенный характер» [22, 4], за деконтекстуализацию и упрощение различий, за забвение того, что не все предпринимаемые людьми путешествия добровольны: «Проблема с такими терминами, как “номад”, “карта” и “путешествия”, в том, что

они обычно не локализованы и потому целенаправленно подчеркивают беспочвенное и неограниченное движение, поскольку связаны с сопротивлением использованию понятий “Я”, зрителей, субъектов. Но вытекающее отсюда допущение о свободной и равной мобильности — само по себе обманчиво, поскольку доступ к дороге у нас у всех неодинаковый» [11, 253].

Мобильное, публичное и приватное

Авторы, настаивающие на том, что в новых теоретических очерках «мобильность» должна прийти на смену «обществу», понимают, что включаются в политически-нагруженный проект социальной теории, но возникает такое впечатление, что иногда они недооценивают двусмысленность своих призывов. К примеру, в глобализованном мобильном мире не прикрепленного к какому-то месту капитала все сложнее становится проводить границы между приватным и публичным, будь это граница между рынком и государством или между интересами корпораций и общественности. Неолиберальное понимание данного различия — в пользу распространения частной, приватной, рыночной рациональности на все сферы жизни общества на том основании, что в прошлом общественность и государство слишком сильно покушались на частные интересы, на приватную сферу. С другой стороны, обоснованно раздаются голоса о том, что это как раз приватные интересы безраздельно подчинили себе публичную сферу, а государство, также став экономическим агентом, предало забвению общественные интересы. Урри с соавтором, также теоретиком мобильности Мими Шелер, последовательно проводя свой дестабилизирующий все и всяческие границы подход, вроде бы логично призывают, с помощью своей теории мобильности, продолжать дестабилизировать границы между публичным и приватным [23]. Их главный довод состоит в том, что, говорим ли мы о границах между публичностью и приватностью, между публичными и приватными сферами, жизнью, интересами, мало того, что эти границы сложно провести, но эти понятия вряд ли полезны в осмыслении политических действий, также сегодня мобильных и текучих. Заметим, что похожее наблюдение сделал другой теоретик мобильности и скорости — Поль Вирильо, который также убежден, что скорость, стоящая в центре современной цивилизации и политики, — скорее их негативная характеристика. Увеличивается ведь и скорость принятия политических решений, так что на убеждение граждан и выслушивание их мнений ни у кого сегодня времени нет. Скорость дробит политическое сознание до такой степени, что современный человек не способен ни с кем и ни с чем отождествиться, когда пытается осмыслить свою социальную жизнь.

Урри и Шелер подвергают критике «статические» теории публичной сферы, развитые Юргеном Хабермасом и Ханной Арендт, в том числе известные аргументы Арендт об экспансии «социального» и Хабермаса о «колонизации жизненного мира», все на том же основании: все в современном мире подвижно и текуче, в том числе и «моменты публичности и приватности» [Там же, 108]. В качестве примера авторы обоснованно рассматривают уличные протес-

ты, подчеркивая, что «умножение анти-капиталистических, анти-глобализационных социальных движений возникло в контексте новых мобильностей тел, капитала, объектов, денег, информации и образов. Такие фрагментированные и текучие темпоральности публичного и приватного превосходят любое простое понятие размывания границ или колонизации — это больше похоже на “креолизацию”» [23, 121]. Это сильный и правомерный аргумент, но он, однако, возвращает нас к тезису, сформулированному в начале статьи. Тезис, если его переформулировать, состоит в том, что иногда «цена» радикальных концептуальных новшеств повышается их энтузиастами за счет пренебрежения историческими различиями и деталями либо, как в данном случае, не совсем точного изображения «устаревших» теорий.

Доказательность аргументу Урри и Шелер придает утверждение о том, что предшествующие теоретики публичной сферы работали со статичными представлениями о пространстве (подтверждением чего, с их точки зрения, является то, что Арендт писала об агоре, а Хабермас — о кофейнях). Сегодня, продолжают они, идеи ограниченного пространства не работают, значит, нужно искать соответствующие мобильному пространству представления о публичности и приватности: «Мы считаем, что гибридизация публичного и приватного более распространена, чем ранее считалось, и происходит более сложными и подвижными путями, чем те, что способна зафиксировать любая региональная модель понимания публичного и приватного как отдельных сфер. Любая надежда на публичное гражданство и демократию будет поэтому зависеть от способности работать с этим новым материалом — мобильными мирами, не публичными и не приватными» [Там же, 113]. Но последний тезис повисает в воздухе, потому что теоретики публичной сферы и не мыслили ее как тождественную материальному публичному пространству: так, Арендт специально оговаривала, что истинное пространство публичной сферы лежит между людьми, произрастая из их совместного действия и обсуждения [1] Точно так же Юрген Хабермас, посвятивший столько усилий демонстрации языкового конституирования публичной сферы, связывал его со столкновениями и диалогом людей, взаимно признающих коммуникативную свободу друг друга, что, как мы понимаем, может происходить в Сети и других «мобильных» местах, прославляемых теоретиками мобильности как эмблемы принципиально изменившегося мира. Более того, публичная сфера понимается Хабермасом не на основе пространства, а на основе сети, т. е. понятия, которое теоретики новой мобильности Урри и Шелер ставят в центр своей теории: «Публичная сфера представляет очень сложную сеть, разрастающуюся во множество пересекающихся международных, национальных, региональных, локальных и субкультурных арен. Функциональные уточнения, тематические фокусы, политические поля и т. д. образуют опорные точки для дифференциации публичных сфер, сохраняющих, однако, доступность для простых людей» [12, 373].

Внушительность мобильных штудий Урри увеличивают разнообразные перечни либо типологии мобильности, приведенные выше. Однако мишени его и Шелер критики, Арендт и Хабермас, посвятившие десятилетия работе с теориями публичности, также были мастерами отличных типологий, в которых,

по-моему, прекрасно учтены мобильность, случайность и многофункциональность гражданских собраний. Так, Хабермас различает «эпизодические» публики (могут возникнуть где угодно), «случайные» публики (возникающие, когда люди собираются на площадях либо на концертах, т. е. когда они включаются в жизнь каких-то культурных или политических институтов) и «абстрактные» публики (удерживаемые воедино массмедиа) [12, 374]. Он также упоминает «литературные», «экклезиастические», «феминистские» публики, а также такие особые публики, главной заботой которых являются политика здравоохранения, социальная политика или экологическая политика [Там же, 373–374].

Еще одно критическое по отношению к этой позиции Урри и Шелер соображение может быть почерпнуто в работах другого теоретика — американского марксистского географа Дона Митчелла, одну из ранних своих работ посвятившего «разрушительной» мобильности сельскохозяйственных рабочих Калифорнии [19, 58–88], а в рассматриваемом нами контексте особенно значимого в силу настойчивости, с какой он отстаивает материальность как предпосылку публичности. Он напоминает, что господствующий в обществе порядок защищает интересы тех, кто владеет частной собственностью и кто боится выплесков общественного недовольства на улицы. Но как можно бросить вызов существующему социальному порядку, если не сделать это публично и в составе той или иной группы? Так, в США активная и видимая на городских улицах борьба за гражданские права в 1960-е гг. привела к изменению федерального законодательства.

Дон Митчелл обоснованно утверждает, что демократия требует публичной видимости, а публичная видимость требует материального публичного места [20]. Так что при всем происходящем сегодня перенесении стержня политических обсуждений в пространство онлайн важно напоминать о значимости материальности для публичного волеизъявления. Это побуждает нас смотреть на свои города сквозь призму идей, которые возникли давным-давно, задумываясь о том, насколько давно на этой площади прошел настоящий митинг или когда мы сами голосовали, надеясь, что наш голос участвует в дебатах об общественном благе. И если для видимости публичности, для весомого политического заявления нужно «оккупировать» то или иное материальное место, то людей не должны смущать речи о «старомодности» такой деятельности. Одностороннее акцентирование мобильности может вполне отвечать интересам неолиберальных властей, ради гарантии сверхмобильности капитала готовых на многое. Изображение пространства как лишённого отчетливых очертаний, не ограничивающего, но стимулирующего появление все новых мобильностей, на поверку может оказаться куда точнее отвечающим опыту привилегированного человека, нежели обитателю Глазго либо Твери, не понаслышке знающему, что такое географическая ловушка.

В статье кратко рассмотрены некоторые сложности соединения, в духе «поворота к мобильности», различных видов движения с его возможными смыслами и политическими значениями. Разобраны проявления интереса представителей различных дисциплин к увеличивающимся скорости и интенсивности

социальных изменений, в частности, формулирование ими таких категорий, как «поток», «движение», «сети», «мобильность». Преимуществом обновленного интереса к движению в ряде областей является объединение ранее разрозненных векторов анализа перемещения людей, вещей и идей. В то же время воспевание неограниченной мобильности, присущее многим теоретическим текстам, рожденным на волне успеха базирующейся на потоках финансов экономики, потому вызывает скепсис и настороженность, что вполне согласуется с неолиберальной идеологией. Поэтому в статье подчеркнута сложная природа самого рассматриваемого феномена — мобильности, включающей не только движущиеся тела и вещи, нарративы и метафоры, но и установки и ценности людей. Продемонстрировано, что, вдумываясь в концептуальные новации, связанные с «поворотом к мобильности», и оглядываясь при этом назад, важно осознавать и разрывы, и преемственность в различных линиях осмысления этого противоречивого феномена: диалектика подвижности и неподвижности сегодня с особой остротой совмещается с классовыми различиями, с разрывом между глобальными Севером и Югом, с болевыми точками капиталистического развития, что с такой остротой выявил продолжающийся глобальный финансовый кризис.

-
1. *Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни* / пер. с нем. и англ. В. В. Бибикина. СПб., 2000.
 2. *Трубина Е. Город в теории: очерки осмысления пространства*. М., 2011.
 3. *Уайтхед А. Избранные работы по философии* : пер. с англ. / сост. И. Т. Касавин ; общ. ред. и вступ. ст. М. А. Кисселя. М., 1990.
 4. *Blackman L. The Body: The Key Concepts*. Oxford ; N. Y. : Berg, 2008.
 5. *Botkin D. Discordant Harmonies: A New Ecology for the Twenty-First Century*. N. Y., 1990.
 6. *Büscher M., Urry J. Mobile Methods and the Empirical* // *European J. of Social Theory*. 2009. Vol. 12, Nr. 1. P. 99–116.
 7. *Clark N. The Demon-Seed: Bioinvasion as the Unsettling of Environmental Cosmopolitanism* // *Theory Culture Society*. 2002. Nr. 19. P. 101–125.
 8. *Cresswell T. On the Move. Mobility in the Modern Western World*. L., 2006.
 9. *Debray R. Socialism: A Life Cycle* // *New Left Rev.* 2007. Nr. 46. P. 5–28.
 10. *De Landa M. Nonorganic Life* // *Incorporations* / Jonathan Crary and Sanford Kwinter (eds). N. Y., 1992.
 11. *Gupta A., Ferguson J. Beyond Culture: Space, Identity and the Politics of Difference* // *Cultural Anthropology*. 1992. Vol. 7, Nr. 1. P. 6–22.
 12. *Habermas J. Between Facts and Norms*. L., 1996.
 13. *Hayles K. Unfinished Work. From Cyborg to Cognisphere* // *Theory, Culture, and Society*. 2006. Vol. 23, Nr. 7–8. P. 159–166.
 14. *Keller E. A., Pinter N. Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape*. Prentice Hall, Upper Saddle River, N. Y., 1996.
 15. *Ingold T. The Culture on the Ground: the world perceived through the feet* // *J. of Material Culture*. 2004. Vol. 9, Nr. 3. P. 315–340.
 16. *Malkii L. Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania*. Chicago, 1995.
 17. *Malkii L. National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of*

National Identity among Scholars and Refugees // Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology / ed. A. Gupta, J. Ferguson. Durham, 1997. P. 52–75.

18. *Massumi B.* Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation. Durham, 2002.

19. *Mitchell D.* The Lie of the Land: Migrant Workers and the California Landscape. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.

20. *Mitchell D.* The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. NYC: The Guilford Press, 2003.

21. Mobile Technologies and the City / eds. M. Scheller, J. Urry. L., 2006.

22. *Said E.* Culture and Imperialism. L., 1994.

23. *Sheller M., Urry J.* Mobile Transformations of «Public» and «Private» Life // Theory, Culture and Society. 2003. Vol. 20, Nr. 3. P. 107–125.

24. *Solnit R.* Wanderlust: A History of Walking. N. Y., 2000.

25. *Pickett S. T. A., White P. S.* 1985. The Ecology of Natural Disturbance and Patch Dynamics. San Diego, CA, 1985.

26. *Urry J.* Sociology Beyond Societies. L., 2000.

27. *Urry J.* Mobilities. Cambridge, 2007.

Рукопись поступила в редакцию 19 марта 2012 г.

УДК 316.244 + 338.22 + 346.26

В. Г. Попов
В. Н. Климов

СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ КЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

В статье рассматриваются основные теоретические подходы к исследованию социальной природы предпринимательства в рамках классической социологии. Проведен сравнительный анализ социологических концепций места и роли предпринимательства в обществе в трудах Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера, В. Зомбарта, Ф. Тённиса. Определены основные социальные характеристики предпринимательства в контексте классической социологии.

Ключевые понятия: предпринимательство, социальные условия и факторы развития, место и роль предпринимательства в обществе, социальная природа предпринимательства.

Выбор методологии изучения места и роли предпринимательства в современном российском обществе во многом зависит от глубокого освоения теоретического наследия классической социологии, в рамках которой значительное внимание было уделено рассмотрению социальной природы данного феномена. Особый интерес у классиков социологии вызывает эволюция функциональных свойств и особенностей предпринимательства, характерных для эпохи формирования современного капитализма.

Цель настоящей статьи — проанализировать наиболее характерные особенности социальной природы предпринимательства в контексте основных теоретических подходов классической социологии. Это имеет принципиально важ-